

ВОЗНЕСЕНИЕ

Вту пятницу он мне позвонил.

— Ооо, привет! — сказала я радостным голосом. Он обычно не выходил у меня из головы некоторое время перед появлением, в последние дни так и было. Я запоя боялась, он ведь пенсию получил на прошлой неделе.

— Я тут у бабки — сказал он. Он часто так — заезжал ко мне, потом к бабке. Или наоборот.

— Я у бабки, и я потерял ключ.

— Ты пил? — Я по голосу чувствовала, что пил. Пиво, наверное.

Мы долго разговаривали с ним. У него был мягкий такой, золотистый голос, как кошачьи лапы. Я что-то болтала суетливое, сказала, что купила поесть (не купила). Обещал позвонить и зайти — завтра.

— Посмертный образ — вдруг выговорил он. У меня упало внутри. Страх за жизнь его был привычен, как разношенный бред, я вздрогнула всей внутренней стороной, он услышал.

— Ну-ну, это книжка. Книжка! Название книжки я читаю. А.Маринина.

— Ааа. — отошло. — Ну ладно, звони тогда завтра — заключила я. Часа в три, да? — И повесила. Посмертный образ — надо ж такое ляпнуть. И я поскорей выбросила все это из головы.

Я хотела свалить. Я не хотела свалить. Я хотела доказать, что уехать — могу. А просто не хочу, и все. А может, потом захочу. Мне в посольстве дали буклетик для подсчета баллов. И вот выяснилось, что если ехать, так надо разводиться. Потому что иначе никаких шансов — муж-сумасшедший. Только вот неясно, как это все ему-то вывалить.

Очень это смахивало на подлость, удар такой — под дых. Но мне казалось, что личная реализация важнее обязательств. Лукьянов благородный, грустно думала я — он не откажется. А все-таки, подлость там или не подлость, еще вопрос. Обиды свои я помнила.

Когда он позвонил в тот день, я ничего не сказала. Не знаю, почему. Очень уж тошно было от этой затеи. Хотелось поприличнее обставить. И я решила при встрече обсудить. Привезти ему там крупы, сыра, рыбы кошкам. Откупиться, в общем. Он добрый, ему все равно. К тому же пьет, так какая ему разница.

И небо не разорвалось, и не провалилась я сквозь пол. Дорога предательства уютная и много поворотов имеет. Оглянешься — и не знаешь, далеко ли зашел. Так вот и вышло, что не успела я с последней подлостью. Потому что в субботу он не позвонил.

Это последний наш разговор был. Я никогда не поблагодарила его за то, что он жил в моей жизни. Это он показал мне мир иллюзий и сновидения, в котором разрушение названо по имени, а смерти нет. А я ничего не успела ему сказать. Возможность благодарить мимолетна, и в своем самодовольстве я не заметила, как упустила ее.

В воскресенье я сидела в интернете. Читала конференцию о трудностях английского словоупотребления. May Day. Там подробно обсуждался May Day – это сигнал такой, у летчиков. Майский день. Означает, что произошла непоправимая неисправность. Погиб – попросту. Последний сигнал. Там историю этих позывных рассказывали двое – летчик и радиостанция какой-то. May Day. Очень интересно. Непременно записать. Только что-то я устала.

Во сколько я вышла из Интернета, не помню. Был уж вечер, часов 8, наверное, даже к девяти текло. И сразу зазвонил телефон, как я отключилась. Паша. Но это был не Паша. То была лукьяновская бабка.

– Здравствуйте – преувеличенно бодрым таким голосом начала я.

– Аня...

Я успела подумать, что ей, наверное, надо помочь – за продуктами, там, или.

Развиться эти мысли не успели. Трубку Рузанов взял.

– Аня. – Он отрывисто так говорил. – Аня. У нас тут такие новости. Виктор умер. Я мгновенно не поняла, кто это – Виктор, и поняла одновременно.

– Как. – Метнулась снаружи мысль, что полагается вскрикнуть, сказать что-то театральное. Я себя удержала. В голове обваливалось, крошилось что-то вниз.

– Что с ним случилось. – Интонаций не было никаких.

– Не знаю. Я прихожу, он лежит тут. Не знаю.

Он говорил немного раздраженно. Будто чашка разбилась – не знаю, как вышло.

Отчаянье постепенно вливалось в меня, – в уши, в ноздри.

– Где он сейчас?

– Да вот, тут лежит.

Мне казалось, что нужно вот, все бросить, и бежать, сидеть с ним. А то – поздно будет.

– Я сейчас приеду – я сказала.

– Ты... Вот что. Приезжать не надо. Тут нельзя ночевать. Бабушка к соседям пойдет, я тоже сейчас ухожу. А ты... Ты полежи. Капельки выпей.

Он что, смеется? Мне НАДО к Лукьянову. С ним надо сидеть, ночь же. Кто меня может не пустить? Договорились на завтра, на 7 утра, на Академической.

Мир куда-то опрокидывался. Я легла на пол. Такой был позыв – лечь на пол, как при взрыве. Я лежала и смотрела вверх. Ничего не видела. Такая упала тяжесть, я не понимала, что это. Я долго лежать не могла. Следовало что-то делать, немедленно. Более всего следовало идти и сидеть с ним, но именно это было как раз невозможно. Понимать ничего было невозможно.

Я немного выла, по-звериному. Потом встала.

Я была растерянная. Я позвонила родителям. Подошла мама. Мне трудно было говорить. Я почувствовала ее острое, злое любопытство. Я попросила папу. И думала, как это говорят. Я не знала, как это говорить. Нужно, чтобы ребенок пока был у них, вот так я скажу. Потом сказала, скороговоркой. Папа спросил, где Паша. Я сказала, что едет домой. Потом я пыталась сидеть. И в лицо нежно махнула мысль о том, что все складывается удачно – разводиться не придется. Захотелось не быть.

Надо же звонить как-то Белле. Это я внезапно осознала. Она же мать, да. Я же за него ответственность несла. Это все тяжесть еще усилило, до неподвижности. Я

пока не могла звонить. Но БМ надо было срочно. Она же... Там. Далеко. Где-то. Мне было так... Ну, будто внутри все стало гниющим мусором. Мне было не плохо, а посмертно.

Тут пришел Паша. И я с трудом, тихо так пробормотала – лукьянин умер. Я сидела сперва в компьютерной комнате, потом на диване, в гостиной. Он немножко меня обнял. Мне совсем не стало легче, мне было никак. Гнилая душа лежала во мне.

Надо звонить Лукьянину, – я сказала. Странно звучало это умершее имя. Отчим. Чья фамилия. Я старалась ухватиться за то, что должна. Я набрала. Он подошел. – У нас произошло большое несчастье, – я сказала, заученно так. Я уже это говорила, когда-то. Он спокойно реагировал. Полюбопытствовал, от чего. Я почему-то думала, что будет предлагать помочь, поддержку. Ну, может, после, когда опомнится.

Потом я звонила БМ. Я все себя готовила к тому, как я буду говорить, но все время забывала слова. Я не дозвонилась. Оставила только сообщение на автоответчике - перезвоните.

Тут я вспомнила про кошек. Он уехал из Лосинки в пятницу. Значит, они третий день одни. Следовало срочно вычислять Наташку. Слава богу, телефон ее был. Она уже знала, откуда-то. Обещала завтра поехать. Ключ был у нее. Она таким твердым голосом говорила.

Потом Паша предложил выйти. Я согласилась. Следовало заполнить ночь. Я боялась спать. Потому что спать – нельзя. Засыпая, забываешь. А когда просыпаешься, умираешь снова. Снова узнаешь это. Я не могла.

Я долго одевалась, долго ходила по квартире, как слепая. Я плохо понимала, чего делать. Тепло одеться. Так. Тепло. Я замотала шарф. Шапку. Зачем шапку, у меня кашюшон. Шапку. Паша ждал.

Мы вышли. Это вроде начиналась зима. Была морозная ночь – сказал бы писатель. Я пыталась идти. Дорога была ледяная и черная. Когда вышли, я поняла, что не пройду много, силы утекли куда-то. Мы пошли по прямой: короче. Дворами. Арка. Я шла нетвердо, цеплялась за Пашу. Капало что-то.

Направо. Слишком ярко светился магазин, резко. Мы зашли. Я не видя сказала, что нужен коньяк. У нас не очень много денег. Московский, кажется. Все равно. Я с трудом выговаривала: сознание упывало. Продавец смотрел странно, я заметила. Он дал какую-то бутылку. Но я нормально говорила, адекватно, я знаю. Бутылку куда-то дели. Может, Паше. Пошли тут же назад. Ледяное черное: дворы. Твердый путь.

Я сказала, что могут звонить, надо быть дома. Но дома, как мы пришли, было тихо. Да, коньяк. Зачем коньяк? Пить было излишне. Я выпила, очень мало, глоток, на-верное. Можно email послать, я вспомнила. Я такую формальную фразу написала: Витя скончался вчера ночью. Позвоните мне. Аня. Мне казалось, лаконизм фразы уменьшает рану, так.

Паша сказал, надо спать. Ладно. Только телефон – с собой. Никогда я не могла спать возле телефона. Теперь кончился его яд. И никто не звонил.

Была еще ночь, когда я встала. Я вышла в ледяную черноту и пошла к трамваю. При себе я имела паспорт, свидетельство о браке, и деньги. Ехала. Потом опять

был ледяной путь. Я стала немного бояться того, что... Бояться увидеть. Я закурила, идя по снегу. И увидела приближавшуюся фигуру. Рузанов?

– Смежным курсом, – сказал он без интонации.

Я почему-то не помнила какой дом. Мы поднялись. Дверь в комнату была плотно закрыта. Бабка увидела меня и заплакала.

Рузанов держался отчужденно, сторонясь нас обеих.

– Так. – он сказал. – Я сейчас побегу на работу.

– А я в поликлинику – подхватила я.

Бабушка дала мне потертый полиэтиленовый пакет. Там были квартирные книжки, обтерханная справка об инвалидности, подклеенная скотчем – я же и клеила, – паспорт, галкинская пенсионка. С тех пор, как я ушла, он это все носил с собой. На случай, если упадет где, а документы – вот они. Я пакет не глядя взяла. Невозможно смотреть.

Поликлиника стеклянным кубиком торчала за рынком. Рынок был грязный, знакомый, безопасный. Поликлиника была – неизвестность. Посмертное стекло.

Я вошла. Регистратура, как в психдиспансере.

Долго кричала в плексигласовую амбразуру: Ульянова, 9! Нет! Не умерла! Бабушка жива! Умер мой муж! Куда мне идти?

Оказалось, к старшей сестре. На третий этаж. Я шла, бодрилась. А что, ничего. Умер муж, да. А я иду.

Сестра оказалась полноватая тетка, лет 50. Не очень счастливая. Старалась выглядеть важной. Я продиралась сквозь ее лень, объясняла. В конце концов она нехотя разрешила. Разрешила – что?

Завели медицинскую карту, потом еще что-то, писали. Наконец сказали, чтоб шла домой: ждать. Сами приедут, адрес есть у них.

Я пошла вон. На остановку. В голове стучала пустота. Пришел трамвай. Я скучно ехала, серым утром.

Я шла как домой – у меня был ключ. Бабушка была у соседей. Вошла осторожно. Дверь в комнату была закрыта. Теперь все. Сейчас придет бабушка, приедет перевозка, и все. Я должна зайти. Так страшно, но этого больше никогда не будет, какое глупое слово.

Я сняла куртку, прошла в кухню, что-то положила там – как бы по делу. Просто я боялась, и время тянула. Хотя следовало спешить. Я сделала для себя озабоченный вид, и толкнула дверь – сперва слегка. Было тихо. За дверью была знакомая комната: ничего нового. Бабушкина кровать. Я собралась внутренне, толкнула пошире, и зашла.

Витька лежал на правом боку, как будто спал. Под одеялом, как бы. Форточка метнулась в глаза – папа говорил, нельзя открывать, если. А то тело (какое тело?) быстро разрушается.

Я перевела взгляд с форточки снова на него. На то, что на диване. То, что его тут нет, я как-то знала. Он ничего, не шевелился. Лежал под одеялом, тихо так, на боку. У него волосы были длинные, он не стриг. Я подошла близко. Хотелось волосы отодвинуть, они заслоняли лицо – я не решалась, нельзя. Интересно, когда он голову мыл.

Я немного наклонилась, чтобы увидеть лицо – подвинулась вперед и вниз. Лицо было только профиль. Такое синеватое, но не очень. Как будто он опять голову разбил. Не страшно.

Лицо было не мертвое, вот что. Я же знала его, как он спал, как плохо чувствовал. Лицо было – обычное, как часто при запое, опухшее, спящее, и все. А я себе вообразила бог знает что.

Это успокаивало, но все равно было так: беззвучное напряжение, щелкающая тишина. И я стала отодвигаться – сейчас бабушка... Оправдание, что ухожу. Я еще подвинулась назад, отступила. Что-то кончилось. Я простилась. Я не простилась. Но это в последний раз. Что – это? Я пошла из комнаты, торопливо.

Бабушка пришла минут через пять. Мы сидели с ней за столом на кухне, и она пересказывала свой вчерашний день. Она говорила и плакала, тонким, безутешным голосом. Так плачут, когда не ждут сочувствия – безысходно.

Она думала, он спит. Нет, она догадывалась, что выпил. Расстраивалась. Ну, пусть уж спит, коли так. И тихо ходила вокруг, чтоб не тревожить. Не разбудить.

А потом уж, когда воскресенье было... Или суббота? Бабушка путала дни. Днем, подошла. (Я прикидывала: днем. Я что делала? Когда, когда, когда – умер? Когда?) – Ооой, как мне плохо стало, – говорила бабушка. – Я к соседям пошла...

Вызвали скорую, пошли в поликлинику с соседкой. Там все было закрыто: выходной. Вечером приехал Рузанов. Он зашел и тоже подумал, что Витька спит. Разозлился, что тот его нычки с бухлом разбомбил.

Это было совершенно в его духе – помереть так, чтоб никто не знал, когда. Потом мне казалось – так ему нужно было. И чтоб нашли не сразу, и чтоб увозили медленно. Каждый сам свою смерть располагает.

Бабушка туманилась, уходила в свой маразм, как в пестренькую занавеску, вроде не понимая, чего происходит. Потом замок защелкнулся. Пришел Рузанов. Он сказал, что скоро придет похоронный агент. Мы сидели. Не хотелось ничего. Не знали, куда деть себя. Тяжкая пустота сидела с нами и гасила все, как туман.

Потом стало одиннадцать утра и раздался звонок. Рузанов метнулся к двери, радуясь занятию – пришла. Молодая, перезрелая, осанистая, в большой белой шубе с черными пятнышками, красиво лежащей на плечах, в яркой косметике. Я глядела бесцветно. Чувствовала усталость. Она прошла, не раздеваясь. Сразу стало заметно, какая маленькая кухня, какая ничтожная квартирка.

Рузанов суетился, пересаживал бабушку, освобождая стол. Я пошла в коридор; хотелось от этой Оксаны отодвинуться. Они там обсуждали нечто уже известное – кажется, перечень услуг.

Тут дверь снова зазвонила. Рузанов побежал открывать, Оксана стала собираться – верно, услуги уж обсудили. Цветные фотографии гробов она деловито собирала в дамскую элегантную сумочку. Я тускло смотрела. Оказывается, смерть ходит рядом, в яркой косметике и дорогой шубе, и носит в сумочке холодные глянцевые гробы с веночками разных фасонов.

Рузанов впускал тем временем перевозку: вошел молодой парень в чем-то синем, как дворник. Харон сунулся в комнату сперва – видно, хотел убедиться, что клиент на месте.

Оксана вдруг оживилась и полезла всей шубой в коридор – оказалось, они знакомы.
– Ааа, кого я вижу! Прилетела к добыче, тут как тут? – это Харон.

Понеслись веселые возгласы, кокетливый смешок. Перешучиваясь о своем, они как-то вдвинулись в кухню.

Там мы трое сидели, оцепенев, вокруг стола. Растерянные, мы были похожи на нищих. Горе связывало и укрывало нас, как сугроб, а вокруг шумели.

Эта шуба, эта сытая бесчувственность, жириющая от чужого горя. Оксана казалась мне почему-то мертвой, как будто умерла уже давно – потому и косметика. Я ее возненавидела. У нас было горе. Огромное, несловесное, оно сидело молча с нами. Она не смела смеяться здесь. Я не знала, как это сказать.

Она ушла, наконец, отсмеявшись и получив деньги, и перевозчик остался один, и стало тихо. Впрочем, нет, не один – появился тут же второй, помоложе. Они зашли оба в комнату, и что-то делали и тихо говорили там, а мы сидели в кухне с бабушкой, и метался отец.

Потом они вышли, недовольные, и мне стало страшно.

– Вы что, не знаете, в каком он состоянии – раздраженно начал тот, что первый.

– Ну... Мы... Никого не было... – Рузанов растерялся.

А действительно, что говорить?

– Ладно уж.

Они снова зашли в комнату, и тихо что-то бубнили еще там. Потом выглянули, попросили простыню. Как тогда.

Я сидела с бабушкой, мы немного съежились. Я ее обнимала за плечи и бормотала какую-то бессмыслицу. Вернулся Рузанов. Он не знал, куда себя деть. Потом я услышала глухой тяжкий звук об пол – там, в комнате. Он ударил не по слуху, а там, где грудь и ребра. Я услышала так, будто упало внутри меня. Будто я упала. Я вздрогнула внутри.

Возились что-то, слышно. Потом видимо двинулись. Один сунулся в кухню:

– Хозяин!

Рузанов вышел, торопясь. Невыносимо стало. Там, слышно, выносили. Я замерла, качаясь вместе с бабушкой. Вдруг стало тихо. Голоса смолкли, дверь тихо так, извиняясь вроде, щелкнула. Рузанов вошел. Я услышала, что он в комнате. Потом прошел в ванную, и уж потом – на кухню. А пожалуй, испытывал он облегчение. Он же тут жил. Наверное, в тягость ему было. Тело, запах. Теперь все.

Он вошел. Мы с бабушкой повернулись: сироты. Мы теперь были сироты. Как пришла эта белая, красивая, определилось. Потом бабушка дремала в комнате, а мы тихо совещались на кухне. Я сказала, что завтра поеду делать документы. Вообще-то бумаги агент делает. Но я не хотела, чтобы – эта. Я сама. Я сама себе выбрала – удерживать его в этом мире. И кинула. Обещание, оно было дано однажды, может, случайно, может, даже и под влиянием временного настроения, и он... расчитывал на это, вроде. А когда я сдалась, я лишила его точки опоры. А этих точек и так немного было.

Мы пили водку, и не то что действовала она, но стало как-то теплее. Потому что пока было утро, Харон и смерть по имени Оксана, мы были как в глубоком обмороке. В заморозке.

Потом Рузанов быстро убирал с вешалки лукьяновские вещи, бормоча: Чтоб бабушка не видела... а то... мне не надо... чтоб с ней еще... стало... Я слушала, как внутри меня рвались с треском какие-то ткани. Живые.

– Ты возьми это, – он ко мне повернулся. – Забери, а то у меня тут бабушка.

– Конечно-давайте – я схватила так, будто это надо спасти. А это просто вещи были.

То есть история какая. Лукьянов пропивал пенсию, как обычно. А потом антракт случился, потому что ключ от квартиры потерялся. Пришлось тащиться к бабке. Он как раз несколько проглюкался. Нейролептика побольше закинул, чтоб отвлечься. Он там зависнуть планировал на денек, пока ключи у меня возьмет. На дольше уезжать нельзя было: кошки.

Вот как удачно складывалось. Даже и деньги еще оставались, чтоб продолжать банкет.

В достижении смерти Лукьянов был удивительно последователен.

И вот он приходит к бабке, лезет в холодильник – там – бац! Пивко. А в шкафике еще кое-что. Рузановская заначка. Тут Лукьянов стал ласковый. Потому что это уже сверх программы сюрприз получился. Он обрадовался. Сразу пить не стал: позвонил мне, Галкину.

– Я теперь ненадолго исчезну, сказал он Галкину, – а потом опять появлюсь.

– Посмертный образ – сказал он мне. Наверное, то, что я пишу здесь, именно это и есть: посмертный образ.

Я думаю, это случилось на рассвете. Есть такой серый ранний час. В это время умирают в больницах. А потом заснул, вроде. И все. А утром бабушка встала – он спит.

Когда в поликлинике спрашивали, когда он умер, и потом, с Хароном, все удивлялись: что ж он у вас лежит-то сколько? Мне так стыдно было, что он валялся брошенный.

Я позвонила на работу. Кажется, во вторник я должна была идти на работу.

Я позвонила и сказала. Дело в том, что. У меня умер муж. Мне странно выговаривать все это было. У меня - муж. Я что - вдова? Я стала вдова? Что за слово. Вдова - это бывает только с другими.

– Что! – вскрикнула СН. Потом возникла путаница: выясняли, кто. Нет, не Паша, нет. Мой муж. Другой. Я чувствовала неловкость, но мало. По-настоящему, я этого не стеснялась.

Потом я опять боялась ложиться спать. Забыть боялась. Сидела в темноте.

Утром был вторник. Мы встречались с СН на перроне. Кажется, на мне была шуба. Она дала мне конверт с моей зарплатой. Она не знала, куда девать глаза. А я чувствовала как ледокол. Передо мной лежал трудный день. Я была в обстоятельствах, которым умела соответствовать. Это был последний шанс доказать. Кому?

Она была добрая, и, слава богу, не стала меня жалеть. Вы звоните, она сказала. Я чувствовала в ней опору, потому что все подкашивалось вокруг. Или это я была подкошенной.

Низкое серое здание без окон было характерное. Какие-то люди громоздились вокруг, и машины стояли, а из черной пасты – ждали. Я открыла дверь и зашла. Направо была контора. Там, в помещении, похожем на зальчик, сидел человек за столом. Он сказал мне пройти напротив. У врача вопросы ответить. И документы заполнить.

Я пошла. Небольшая такая комната, и окошечко, как на почте. Я села и ждала. Старалась не заплакать. Я бы не заплакала. Просто тишина подействовала. Потом я встала и всунулась в окошечко. Дала документы всякие, и девушка стала писать, задавая вопросы. Она осторожно так говорила, тихо. Они там привыкли, наверное, к истерикам.

Кто я, потом год рождения, адрес. Я знала все ответы, значит, он не бездомный.
– Когда умер?

Я объяснила, что в точности не известно. Потом подумала и сказала – пятнадцатого. В воскресенье. Это было окончательно, я выбрала. Тогда он не выглядел таким... ненужным.

– А от чего? – она спросила.

Я усмехнулась. Они у меня спрашивают окончательный диагноз.

– Острая сердечная недостаточность, – сказала я.

Потом она стала звонить врачу. Я еще раз объяснила причины смерти: алкоголь на фоне нейролептика, нарушение сердечной деятельности... Я уже поняла, что в бумаги пойдет все с моих слов. Это было правильно. Я-то знала, от чего он умер: от отсутствия опоры.

Потом я пошла назад, в зальчик. Человеку за столом было лет 26.

– Аа. Лукьянов. А вы кто?

– Жена. – Я и в поликлинике говорила, что – жена. Я не могла выговорить – вдова. Жена – означало, что мы с ним заодно, он не один. Я очень твердо держалась.

Они объяснили, что “он у вас” в таком состоянии, что хоронить открытый гроб проблематично.

– Процедура восстановления дорога и начинать надо немедленно. Мы как раз обсуждаем, что делать, – сказал тот, за столом, и посмотрел любопытно.

Я задумалась. Я бы согласилась сразу, но вот родители... Они ж могут рассердиться. Сказала, что пойду думать.

Я вышла. Позвонила Рузанову.

– Ооох, – он выговорил. Так это прозвучало. По-стариковски. Я вдруг услышала, что он уже старый человек. Немолодой. Не очень здоровый. И он потерял сына, каким бы чужим тот ни казался.

– Ну... давай... ладно... – ему воздуха не хватало, говорить.

– Все. Потом позвоню. – Я старалась быть очень спокойной.

Санитар и приемщик с облегчением вздохнули, когда я сказала. Потом еще чего-то писали – какую-то важную справку, без которой не дадут свидетельство о смерти. А пока его нет, он не умер.

Свидетельство выписывали на другом конце города. Я попросила отдать его фотографию из паспорта, другой у меня не было. Паспорт забрали. Государственный зверь сожрал его, выплюнув взамен листочек: Свидетельство о смерти.

Дальше был телеграф. Надо было послать заверенную телеграмму в посольство, чтоб БМ дали визу. Там что-то все спрашивали, про адрес, а я не знала, и телеграфные сказали, что не гарантируют доставки. Тогда я стала отправлять еще факсы, в несколько мест, для верности. Уже ничего не чувствуя, я механически повторяла: Ваш сын Виктор... скончался... скончался... скончался.

Потом я вернулась на Академическую. Там было классно: меня ждали. Рузанов стал меня кормить, и мы опять пили водку. Потом позвонил Деник и потребовал, чтоб мы ехали в храм к вечерней службе. Это они с Колдуном придумали – отпевать – вот у них и дьякон знакомый нашелся, Витькин одноклассник. Я смущалась бате объяснять про отпевание, потому что знала, что он неверующий. Просто сказала, что в церкви прощаться лучше.

И тут, значит, Денис. Пристал как банный лист: ехать сейчас, и все. А я много вы-пила. Вдове на бровях являться в божий храм было как-то неприлично. Хотя стыд меня не особенно мучил. Но я все же попросила устроить, чтоб к батюшке мне не подходить. Я лучше уж тут, снаружи. Тошнота была невыносимая. На дворе оказалось довольно холодно, так что пришлось зайти. Там шла служба. Деник суетливо прикладывался ко всем иконам, Рузанов честно пережидал.

Обратно ехали в метро, и я все уговаривала Рузанова отказаться от этой гробовой барышни. Как-то совместилась она в сознании моем со смертью, у которой Лукьянова надо было отвоевать. Наверное, мне хотелось себя как-то оправдать, не знаю.

На другой день я опять поехала на эту улицу Цюрупы. Елки, как ее выговаривать-то. Отвозить одежду для Витьки. Я несколько удивилась – а зачем? – а они сказали, надо. Все, что обычно. И мы с Рузановым собрали эту посыпочку. Он еще свой пиджак отдал, прямо с себя снял, хороший такой. И я отнесла, утром, а потом сделала заказ – ну, всей процедуры. Автобус там, и прочее.

Они откуда-то уже знали, про скандалчик с агентом, и любопытно смотрели.
– Вам, – мне сказали со значительностью, – надо выбрать себе гроб. Вы пройдите. И молодой человек провел меня в зал, где стояли крышки. Как-то они тяжело давили. Хотелось растеряться, но было нельзя. Платить, сказали, можно попозже. Потом я поехала на Киевскую. Там фотографию можно было увеличить.

А на другой день, четверг это был, повезли еду и посуду – в Лосинку. Рузанов привез на джипе. Водитель был Николай, ужасный такой громила. Мы погрузились у бабки, потом заехали ко мне, и двинули на север. Страшно долго ехали, часа два. В Лосинке ждала Наташка. Она уже два дня там сидела, с кошками. Я сразу ревниво заметила, что с ней Рузанов как-то гораздо свойственнее. Со мной не так. Но в общем, было не до того. Надо была ехать к Оксане, деньги выручать. И мы с Колей двинули, на джипе.

Гробовая контора находилась черт-те где, у окружной, рядом с ЦКБ, где как раз лежал Ельцин. Транспорт туда не ходил никакой, так что если б не джип, не знаю, чего б я делала.

Искали мы долго: как добрались, уже смеркалось. Нагло и медленно проехали джипом главный вход; потом зарулили на парковку возле низенького служебного здания.

Ну, и там, в небольшой такой комнатке, я напала на эту гробовщицу. Николай мрачно маячил за моей спиной. Я надеялась, что страшный джип, на котором мы неторопливо разруливали по двору, навел на врага ужас, и угрюмая фигура здоровенного Коли должна была это все усиливать.

– В общем, – я грубым голосом сказала, – отдавайте деньги.

Оксана как-то заерзала, посмотрела на Колю и неуверенно отказалась. Потом предложила вернуть часть.

Вот еще. Я поднажала. Она сказала тогда, что директор будет решать. Директор – гладкая такая девушка с глазками, как у смышеной собачки, сидела в другой комнатке. Оксана деликатно попросила меня временно отогнать Николая – дескать, разговор-то приватный. Я сварливо отказалась, и Коля застрял в открытых дверях.

Директора пугать почти что не пришлось: не зря у нее были такие сообразительные глазки. Я только повторила, почти без напора, что денюшки надо отдать. Та уж собиралась согласиться, но тут влезла опять Оксана и стала что-то гнать про свои расходы – она, дескать, дважды ездила через всю Москву, доски для нас выбирала, еще чего-то.

Тут в голове моей щелкнуло, и я поняла, что сейчас порву эту Оксану на тряпки без всякого Коли. Помню как я несвязно орала на нее не своим голосом.

– Я бы на вашем месте.. – затявкала она в ответ. И я от души пожелала ей побыть на моем месте. Только тогда мне стало стыдно: вдруг сбудется.

Они отдали деньги, и мы неторопливо удалились. Потом еще разок разрулили джипом перед окнами.

В Лосинке уже что-то готовилось. Наташка сказала, что пока меня не было, звонила БМ: она прилетела. Потом мы снимали с петель дверь в комнату, чтобы сделать большой стол. Я долго разгружала книжные полки, строила из них лавки. С балкона принесли горелый остов кушетки – той, которую Лукьянов осенью подпалил, заснувши пьяным; из нее сделали еще один стол, покороче.

Стулья тоже были: три штуки. Один – Галкину, в нем полтора центнера. Второй – Наташке – она еще тяжелее. Колдуна – на кушетку, он вертится, когда сидит. Еще трое могли сесть рядом. Остальные – на полки. Нормально. Мы на этих полках даже спали, уж сидеть-то на них точно можно было.

Тут еще выяснилось, что в туалете сломан бачок, поэтому унитазом пользуются с помощью ведра, которое ставят в ванну и наливают воду. А поскольку вешалок в прихожей нет вообще совсем, то шубы, скорее всего, придется складывать именно в ванну. И возник вопрос, как при этом с унитазом-то быть?

Это серьезно все обсуждалось, хотелось людям комфорт создать. Было решено наполнять ведро на полу, из душа, а в ванне будут лежать шубы. Правда, душ немногого подтекал, но не сильно, так что шубы класть можно, нормально.

Только вот кошки вызывали сомнения. Потому что они, когда волновались, всегда лили где ни попадя, особенно Полкан, он нервный. Малаша была дисциплинированнее, но все равно они вдвоем очень любили метить полки. Поэтому от наших лавок уже и сейчас кошатинкой повеивало, а комнату закрыть было уже нельзя – дверь-то сняли.

За кошками решили неусыпно следить. А на время прихода гостей и вообще реши-

ли закрыть их в ванной, где будут гостевые шубы. Ничего, целую ванну меховых изделий двум кошкам быстро загадить трудно.

Дом был не из дешевых, это чувствовалось. Прямо рядом с метро. Двери такие солидные, железные – одна, вторая, вахтер в будке. Второй этаж.

Он называл ее маман. Я видела ее два раза. Мы обнялись, довольно формально, никакого взрыва эмоционального не было. У нее были его глаза. Я держалась льстиво и неловко; она вела себя как-то не так, и квартира была дорогая, новорусская. Я быстро объяснила все – что отпевание, что закрытый гроб. Вроде она не сердилась. Она как-то очень по-светски держалась. Будто случившееся огорчало ее, но не слишком.

Тут пришла ее подруга, с визитом. Белла рассказывала о заграничной жизни, подруга вежливо восхищалась. Коснувшись нынешних обстоятельств, Белла вдруг объявила довольно торжественно, что “Аня все взяла на себя”. Это прозвучало будто я “взяла на себя” чтоб меня похвалили.

Некоторое время они рассуждали о моих достоинствах. Подруга притворялась не хуже Беллы. Они расспрашивали, любила ли я его, и все такое – как на интервью. Я не знала, что отвечать. Я жила с ним потому что он был оазисом покоя, и собиралась его оберегать – как свет, не как личность, – а потом кинула – но я не сумела это сформулировать, и несла какую-то чушь. Впрочем, ответы их мало интересовали. Еще Белла пригласила подругу на похороны – как в гости. Потом та ушла, и я тоже хотела уйти, но Белла сказала, чтоб я подождала, сейчас ей принесут деньги, она хочет мне дать. Деньги – это я подожду, деньги конечно нужны мне, давайте.

Она прошла в гостиную, включила телевизор. Телевизор. Это было дико. Витя умер!

Потом пришли эти ее знакомые, пошел опять светский такой разговор, на этот раз про выезд – им дали визы. Я не слушала. У меня было горе, это отгораживало.

Снаружи она была мягкая, слабая, снисходительная. Очень хотелось ей нравиться, чтоб она как-нибудь простила мне, что его теперь нет. Вина душила, мне все равно было, у кого просить прощения.

– Увидимся на наших берегах – сказала, наконец, Белла. И гости ушли.

Тогда она спросила про квартиру. Я сказала что пыталась ее приватизировать для него, но он не хотел. Так что теперь квартира непонятно куда денется. Она промолчала. Завтра она обещала зачем-то со мной идти в морт. Я обрадовалась компании. Все лучше, чем одной.

Потом была опять пятница. Как-то это не входило в голову, что всего неделю назад Лукьянов искал ключ, ехал к бабке, звонил мне. С тех пор прошла жизнь. Я опять поехала на эту Цюрупу. Привыкла уже, даже произносила без запинки.

Беллу встретила по дороге. Она выглядела притихшей и немного испуганной. Впрочем, и решимость чувствовалась. Я заплатила денег, она заказала венок. Рузанов тоже заказал, в квитанции стояло. Потом я думала заехать с ней к бабке, но туда оказалось неудобно.

Ну, я повезла ее к себе. Было неловко обшарпанный квартиры, облезлых стен, не-свежего Паши. Верно, все это было в ее глазах. Она сказала, что не может не привлечь своих людей. Разумеется, ответила я. Мне все равно было, кто и сколько.

Простите меня, люди добрые. Пусть приходят все: он не был брошенным.

– Какие цветы, она спросила. За это многое простилось, она хотела что-то отдать.

– Белые розы, – сказала я, вспомнив кого-то.

Я едва успела за фотографиями. Сердце тряхнуло, когда снимки залезали в пакет. Я заказала несколько, чтобы раздать, если кто захочет. А рамок нет ли. Рамок не было. Как это я не сообразила. Черт. Поехала искать рамку. Потом делала звонки.

Суббота началась в шесть утра. Сегодня. Двадцать первое. Сегодня лукьяновские похороны. Чего-то это не выговаривалось. Стараясь двигаться автоматически, я одевалась. Шарф. Классный шарф. Мягкий такой. Я дарила ему на новый год. Взял, но ругался, что черный. А сам ходил в дурацком клетчатом. Где он его взял-то. И пальто – полный отпад. Бабка, небось, дала.

Основная масса народу должна была к церкви прийти. А я и еще человек пять – к Цюрупе, чтоб нести.

Парень в морге меня узнал. Я отдала недоплаченные деньги, он чего-то записал и спросил, когда придут. Я ответила, что придут только те, кто нести, а прощаться потом, в церкви. Тогда он сказал, что сейчас покажет, как все это выглядит. Мы пошли. Я боялась.

– Я положил накидку, без накидки некрасиво, он объяснял. Я кивала.

Он открыл дверь. У меня внутри упало. Я шагнула. И сразу обрадовалась. Что можно еще зайти, пока никого нет. Там стоял гроб, и в нем что-то темнело, накрытое белым кружевом. Накидка светилась. Ну вот, я пришла, теперь все будет как следует. Там что-то разрывалось во мне, беззвучно, как при анестезии.

– Значит, здесь просто закроем? – он спросил.

Я сказала – да. Здесь закроем, потом зайдут друзья – нести. У вас есть тележка? И пусть кто-то покажет, как ставить.

Он сказал, что все они сделают.

– Надо было вам фотографию еще сделать, теперь уж не успеть.

– У меня есть. – В сумке лежала фотография в рамке, и еще несколько – в конверте. Он посмотрел одобрительно. Мы вышли. Потом я ждала на улице, высматривала.

И вот когда я их увидела, я первый раз почувствовала поддержку. Он не был одинокий. Они такой нетвердой кучей шли, пили, наверное, собаки. Галкин массивно выделялся. Я себе твердо сказала не рыдать. Коля неловко сунул мне несколько гвоздик. Штрапек. Вон когда встретились. Лис. Теперь я его вспомнила, как из сна – пять лет назад... Он меня обнял, и я мгновенно выпала из времени.

– Подожди, ты меня не раскачивай, – я сказала. Нельзя было терять самообладание. Юлька подъехала, рузановская дочка. Юлька классная – похожая на подростка, очень живая, на красивой машине с красивым мужем. Как в сказке. Мне про нее бабка рассказывала. Юлька была с цветами.

Пока ждали автобус, я объясняла: сейчас зайдем. Я, вроде, приглашала. К нам. Подумалось что-то, и я добавила.

– Не бойтесь. Там не видно ничего, там покрывалом все закрыто.

Я шла впереди, и пропустила их у дверей, как в гости. Все почему-то замерли, воядя. Это секунд двадцать было – просто смотрели, молча. Повисло мгновение.

Тут зашли какие-то двое, от конторы. Стали накрывать гроб. Я успела положить цветы.

Началась суета, потом он уже был на тележке, и мы толпясь шли следом к автобусу. Потом его как-то туда поместили, и все стали садиться.

– Я в автобусе, – сказала я Юльке. Она меня звала, в машину. Но я хотела с ним.

Тяжесть лежала внутри, как собака. Она не была злая, только тяжелая. Мы сели вокруг. Там сиденья так стояли хорошо – буквой П. Покоем. Так что мы вместе все время были.

Автобус закрыл двери. Заднюю крышку еще раньше захлопнули. Кто-то хотел через нее влезть, но водитель посмотрел строго и сказал – нельзя! – с суеверным почтением.

Мы сидели как попало. Они друг друга не знали, и я старалась со всеми общаться. Они были же как у нас в гостях. Мне это помогало. Автобус медленно разворачивался, выбираясь.

Ехали ранней Москвой. Последний путь, последний путь, – качалось в голове. Думать об этом было нельзя. Гроб стоял между нами, как общий грех. Говорили о постороннем, нарочито. Как будто просто едем. Мне все равно было, где сидеть. Я ехала с ним, и стала от этого спокойной.

Паша говорил с Яном. Обсуждали компьютерную графику. Синяткин чего-то участвовал.

Я с Колей говорила. Это была жалоба. Выговариваемая тихо, бесцветным голосом. Я рассказывала свою жизнь.

Мы ехали долго. Я смотрела – за него. Смотри: Садовое. Свернули на проспект Мира. Тут стало как-то щемяще. Собака в сердце зашевелилась. ЗАГС, тот самый. Переулок, где жила маман. Банка. Рижский. Господи. Это что – все?

Утро субботы – город пустой. Мы доехали минут за 30. Это было много раньше срока. Автобус въехал в пустой двор перед церковью. Никто еще не пришел.

Потом я ждала. Смотрела, как собираются. Кто-то сказал, что Деник с Колдуном с раннего утра в церкви, на службе. Издалека я увидела женщину с девочкой. Она приближалась, встрепанная, с безумным лицом. Я не могла ее узнать, но поняла – Ирка. Первая жена. На джипе приехал Рузанов. Я попросила выпить. Он мгновенно налил. Стало теплее. Появилась Юлька. Потом народ стал идти уже теснее, я не всех знала. Люди какие-то, очень цивильного вида – верно, знакомые БМ.

Беллу привезла подруга. Мы обнялись. Она сказала, что купила розы, белые, как я хотела. С ней была еще женщина в потертом воротнике. Мы бросились друг к другу и она заплакала. Как-то я догадалась, что это беллина знакомая ведьма, Донара. Она Витьку жалела всегда. Белла смотрела с недоумением: мы обнимались как очень близкие над общей потерей. Потом возникла Лучшая Подруга Беллы. Кивнула мне издалека.

Двор перед церковью был большой. В одном углу собралась светская публика – там сидели в машинах, с дорогими тяжкими цветами, переговаривались тихо, похаживали солидно.

В другом углу стоял джип с Рузановым, Колей и водкой. В джипе сидела Наташка.

Друзья подходить стеснялись, кроме совсем близких и сумасшедших. Молодежь вперемешку группировалась в автобусе: дураки, интеллигентные юноши в древних пальто и богемистые девушки творческой наружности.

Служба, наконец, закончилась, церковь быстро опустела. Подъехал к входу автобус, началась суета. Беллины подруги с детьми и мужьями повылезли из машин и у всех были роскошные цветы. Классно. У Лукьянова будет много цветов. Я пошла искать туалет, за церковь. Там висело рукописное объявление:

Кто может взять взрослого орла? Подброшен в храм. Звонить вечером.

Когда я вернулась, уже все были внутри. Белла дала мне охапку белых роз.

Потом я вспомнила про шарф и натянула его на голову. Стала пробираться вперед. Надо было поставить скорее фотографию, пока не начали.

Церковь была пустынна и воздушна. Там шел ремонт. Под ногами мягко прогибался дощатый настил вместо пола. Часть была в лесах. Гроб стоял впереди, у иконостаса. Я пробралась, стала раскладывать цветы. Венки? Венки забыли, кажется, в автобусе. Кто-то за ними пошел. Я долго устанавливала рамку с фоткой; мне хотелось, чтобы было хорошо видно. Народ тихо охнул и расступился, как я ее достала, в этот момент мы с ним снова остались одни.

Шарф на голове был как у деревенской бабы, ну и что. Кто-то сунул мне свечку, и стало уже слышно священника. Я в себя приходила, медленно. Сделалось очень тихо. Рузанов стоял с Юлькой. Белла, такая сжавшаяся. Кто-то еще подтягивался сзади. Постепенно я перестала оглядываться. Звук как будто нарастал. Внутри меня все замерло. Я стояла, как над обрывом. Ни одной мысли не стало. Золотой луч светился и пыль дрожала в столбе света. Солнце вышло, когда отпевание уже шло, не сразу. Я смотрела на белое кружево и розы и ни о чем не помнила. Мы были одни, или не здесь, и скрипели доски, кто-то вздыхал, и плакали тихо сзади.

Потом мне говорили, что служба была очень длинной, люди устали. Разве можно устать от света. Это сияло – свет и голос – нарастаю, отпуская, жалуясь. Тлела боль, прощание, мольба; он там лежал, и скрипели доски. Я не думаю, чтоб это было долго. Мне было все равно, кто устал. Мне хотелось, чтобы этот свет, слепящее белое, танцующая пыль, были всегда. Далеко в высоте нас осенял купол.

Потом все кончилось. Священник посыпал песок в гроб, дьякон помогал, а я все стояла, как камень. Прощались. Этого я не запомнила. Я уже упала туда, в обрыв. Надо было взять рамку с фотографией. Я сама не знала, зачем. Глупо было класть фотографию в гроб. Я взяла. Принесли откуда-то крышку.

Было маленько смятение: закрывать. Мне показалось, Андрей это сделает – может, так и по обряду полагается, чтоб дьякон. Но он не хотел. Оглянулся – все расступились в страхе, – и протянул молоток случившемуся рядом Синяткину: заколачивай.

Тот механически взял: молоток, потом гвозди. Крышка пришлась; он начал, сначала робко, потом, расходясь, все сильнее. Так и остался навсегда этот звук – в огромной пустой церкви исступленные, жалкие удары заколачиваемого гроба.